

Russian Titles for the Specialist No. 183

Борис Пильняк

Boris Pilnyak

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
КНЕЕВ ПИТЕР КОМАНДОР



PRIDEAUX PRESS

LETCWORTH ° HERTS ° ENGLAND

Russian Titles for the Specialist No. 183

Борис Пильняк

Boris Pilnyak

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
КНЕЕВ ПИТЕР КОМАНДОР



PRIDEAUX PRESS

LETCHEWORTH ° HERTS ° ENGLAND

ISSN 0305-3741

This edition first published 1979

Его Величество Кнеeb Piter Komandor появился в печати: 1) в сборнике „Былье“; 2) в сборнике „Никола-на-Посадьях“, к-во „Круг“, Москва 1923 г.; 3) отдельной книжечкой в Берлине, в из-ве Геликон, 1922 г.

Printed and bound in England by
SHORT-RUN REPRINTS
P. O. Box 1
Letchworth, Herts.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
КНЕЕВ РІТЕР КОМАНДОР

Не презирати, не за псы имети,
Паче любви, яко свои дети.

Симеон Полоцкий.

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,—
Как слезы первые любви.

Пускай заманит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты.

А. Блок.

Глава первая.

— Понѣже Государство, какъ учать французы, гармонія всѣхъ естествъ есть, не токмо фізическихъ, но і духовныхъ, мню я, что Его Величество Государь Петръ Алексѣевичъ единое оскудѣніе учинилъ Государству Россійскому, ибо владодательство, т.-е. політика, не есть дебошанство. Бывъ многажды въ Винесіи, Паризѣ і земляхъ Фламандскіихъ не могу оставить мыслию Родины. Гісторія ея туманна есть, понѣже холопы и прочій подлый народъ оставленъ въ бытіи первобытномъ, а шляхетство, яко-бы штудіруя въ Академіи-де-Сіансь, імѣя Регламенты і во всякихъ художествахъ искусство получивъ,—не есть что кромѣ, како

амурщіки і галанты, пітухи і мздаімцы, мордобівцы і воры, і казны гсударівой казнокрады, ибо совѣсть ихъ пропіта есть і отцовы заказы забыты суть. Младымъ отрокомъ отъ сосцовъ матери оторванъ бывъ, получивъ искусство артиллеріи за граніцією, съ младыхъ лѣтъ приучень бывъ зѣло піти, обрѣлъ я ко зрѣлому возрасту единую скорбь, безвѣрие і плутничество. Государство наше Россія пребываетъ въ гладѣ, морѣ, бунтахъ і смутахъ.—

Такъ записалъ въ журналъ свой Гвардии обер-офицеръ Зотовъ, отбывая дежурство въ Адмиралтейской крепости, въ канцелярії Адмиралтейств-коллегіи. Въ каменной полутемной комнатѣ со сводчатыми потолками было захаркано и заплевано. За приземистыми, уже успевшими запылиться, оконцами, на квадратномъ дворе грудями свалены были лыко, мочала, канаты, распиленный лесъ. Слева пламенела кузница. Отъ нижнего каменного бойверка шла куртина. По недостроеннымъ бастионамъ ходили часовые. У самой Невы, на докѣ стоялъ скелетъ фрегата, напоминавшій костякъ дохлого мамонта, привезенного недавно въ куншткамеру. Около бастионовъ и у фрегата толпились работные людишки, пригнанные сюда со всей Россіи, тверские, вологодские, астраханские, калмыки, татары, хохлы, въ рваныхъ зипунишкахъ, въ лаптяхъ, а иные и безъ лаптей. Снегъ лежалъ грязный и осунувшійся. Вѣтеръ дулъ с моря, несъ ростепель, невские льды тронулись ночью, серые облака шли неспешно,—мартовскій день походилъ на октябрь. За рекой одиноко торчали неспиленные еще сосны, точно на лесной порубкѣ. На Васильевомъ Хирвисари-островѣ, пилкой очерчивая серое небо, толпились кое-гдѣ еловые, стройные перелески. Надъ головою, на адмиралтейскомъ спицѣ пробіли куранты семь, и сейчасъ же за ними заскрипели цепи подъемныхъ воротъ. Вошелъ солдатъ и поставилъ на столѣ тусклую масленку. По бою курантовъ, по скрипу воротъ, по походкѣ солдата, по тому,

как поднят штандарт,—гвардии офицер Зотов научился узнавать о настроении государя: служба была государева. И всегда, когда Зотов думал о Петре, все существо его напрягалось тоскою и болью: ему вспоминался серенький январский день, когда отца его, князя-папу, Никиту Зотова, восьмидесятичетырехлетнего старика, по именному указу государя, венчал девяностолетний поп с шестидесятилетней старухой Пашковой. Шествие, санкционированное указом, начиналось у Зимнего дворца. В сани „молодых“ были запряжены четыре медведя, к козлам был привязан олень. Во главе процессии шел палач и кесарь Ромодановский, кой „пьян во все дни“. Все министры, аристократия, дипломатический корпус,—все присутствовали на этом узаконенном издевательстве. Медведи, которых били, дико ревели. Князь-папа наряжен был в костюм жреца, полуобнаженный, дрог на морозе,—дрог и кривлялся, кривлялся, чтобы увеселить государя.

В канцелярии Адмиралтейств-коллегии Петр был утром, Зотов еще спал, устроившись на столе, его разбудил сержант. Государь вошел в треуголке, одетый в зеленый сивильный сюртук, сильно потрепанный, в узкие черные штаны, красные чулки, вязания императрицы Екатерины, и в скошенные немецкие туфли (карманы сюртука и брюк оттопыривались сильно, набитые трансциркулем, компасом, ватерпасом и прочими инструментами, которые Петр всегда носил при себе). Шел сторбившись и стремительно, размахивая руками, широко расставляя тонкие свои ноги, косолапя, подражая, по привычке, голландским матросам: стало быть, его величество был в расположении духа хорошем. Гвардии обер-офицер Зотов стал во фронт. Государь, на европейский манер, подал руку. Куранты пробили три четверти пятого пополуночи. В окна шла туманная муть. Государь непристойно сострил, актерски расхохотался, как всегда, на о,—прошел к столу,

просматривал бумаги. Затем отомкнул своим ключом шкаф с тайными государственными бумагами, касающимися адмиралтейства, и жестом пригласил проследовать в него офицера Зотова.

Сказал:

— Возможности не имея пребывать ноне на заседании Адмиралтейств-коллегии, прошу ваше благородие присутствовать при нем тайно, в сиянсе. Донесение извольте учинить начальнику тайной канцелярии графу Петру Андреичу.

Никогда, нигде не было такого сыска, как при Петре в России. Гвардии офицер Зотов, бряцая эспадроном и шпорами, прошел в шкаф, от государя пахнуло потом и водкой. Петр замкнул ключ и, уходя, крикнул бодро:

— Имею честь поздравить ваше благородие с открытием навигации. В завтрашний день пожаловать просим ко дворцу на трапезу!

В шкафе было темно и душно, в щели шел серый свет. Зотов покурил из голландской своей трубки, устроил сидение из бумаг, оперся на эспадрон и заснул, привыкнув спать во всяких положениях. К десяти стали собираться члены. Апраксин послал сержанта за водкой. Зотов подслушивал: говорили то, что говорила вся Россия, так же, как говорила вся Россия,—о том, что Россия разорена, что в Заволжье бунтуют калмыки, на Дону непокойны казаки, что по деревням голод и смерть,—по деревням пошли юродивые ради Христа, в деревнях нашли антихриста... Начальник тайной канцелярии граф Петр Толстой пришел в коллегия к четырем по полудни и выпустил Зотова из шкафа. И Толстой, человек, задушивший в Адмиралтейском и Петропавловском застенках не одну сотню людей, сидя у стола, глядя на Неву немигающими своими глазами, говорил так же, как все, трусливо и зло:

— На Кайвусари-Фомином острову новый праведник сыскан. В Адмиралтейский застенок сей юродивый доставлен.—Толстой помолчал.—Вся Россия зело плачет. Ночью приди.

Зотов спросил:

— Веришь, ваше сиятельство, ради Христа юродивым?

Толстой осмотрелся кругом, пристально взглянул на Зотова немигающими своими глазами, сказал тихо:

— Верою весьма преисполнен.

Куранты пробили семь с четвертью. Сумерки мутнели грязно. Нева набухала, с моря шел ветер: к рассвету надо было ждать наводнения. Зотов прошелся по комнате, разминая ноги в ботфортах с голенищами до паха. Остановился у двери и прочел царский указ, уже пожелтевший и засиженный мухами:

— „Великій Государь указаль симъ объявить, какъ и прежде сего объявлено было, чтобъ у кораблей и прочихъ судовъ, такожь у галеръ въ гавани, при Санктъ Питербурхъ, никакого огня не держать, такожь и табаку не курить, а ежели кто въ ономъ същется виновень, будетъ бить: по первому приводу будетъ наказанъ 10 ударами у мачты, а ежели приведенъ будетъ въ другой разъ, оный будетъ подъ киль корабельный подпущень и у мачты будетъ бить 150 ударами, а потомъ вѣчно на каторгу сосланъ“.—

Прочитав, гвардии обер-офицер Зотов набил трубку и от масленки закурил.

Заснув еще, в двенадцать он сделал обход часовых,— часовые стояли на посту 24 часа, и не смели спать, ибо биты были тогда батогамы нещадно. Сменив посты, пе-

редав караул и дежурство, направился домой, тут же, на Московской стороне, за Мьей-рекой, в гвардейские казармы. Проскрипели подъемные ворота, в канале шумела прибывающая вода. Охватили мрак, сырость, ветер, ботфорты вязли в разбухшей глине. На пустырях пересвистывались дозорные, на Кайвусари-Фомине острове звонили в колокол. Во мраке наткнулся на сваленный лес, на изгородья новых недостроенных построек. У каторжного двора испуганно окликнул часовой. Итальянский дворец горел желтыми огнями. На немецкой слободке, где жили съехавшиеся со всех стран на легкую наживу всяческие неудачники, прохвосты и пираты, трещала колотушка. Ветер дул упорно, сырой, упругий. После суточного сидения в сырой канцелярии, нудного безделья и неловкого сна члены тела казались помятыми, опухли глаза, слипался рот. Заморосил дождь. В офицерском корпусе гвардейских казарм были шум, пение, крики, визжал орган: офицеры только что вернулись с ассамблеи, где наплясались и перепились. Молодежь толпилась около дневальной каморы, куда затащили срамную девку.

Гвардии обер-офицер Зотов собирал и собирался записать в журнал свой материал об основании Санктпетербурга, парадиза Петра,—этого страшного города на гиблых болотах с гиблыми туманами и гнилыми лихорадками. Во имя случайно начатой (как и все, что делал Петр) войны со шведами, случайно заброшенный под Ниеншанц, Петр случайно заложил—на болоте невской дельты, на острове Енисари,—Петропавловскую фортецию, совершенно не думая о парадизе. Это было в семьсот третьем году,—и только через десять лет стал строиться—Санкт-Питер-Бурх,—строился так же дико, стремительно, жестоко, как и все, что делал Петр.

Главной задачей устройства парадиза было, чтобы он не походил на Москву. Санктпетербург должен был стать

каменным: указом государя запрещалось ставить каменные поставки во всем государстве, кроме Санктпетербурга, а в оном, ежели дом и строен был из дерева,—шить его тесом и раскрашивать под кирпичи. „За Тюркскою войною зѣло мало въ высылкѣ было работныхъ людей въ Санктъ-Питеръ-Бурхъ, чего для потщитесь къ будущему лѣту и къ зимѣ указное число выслать:—съ 35 городовъ, посадовъ, дворцовыхъ волостей, помѣстьевъ, вотчинъ, всякихъ чиновъ людей, съ крестьянскихъ и бобыльныхъ дворовъ“—отовсюду велено было пригонять в Санктпетербург „от 9-ти дворовъ человѣка“. Людей сгоняли палками, гнали в цепяхъ, работные людишки должны были итти „съ плотничными снарядами, съ топорами, а у всякого бѣ десятника было по долоту, по бураву, по познику, а хлѣбу и запасу тѣмъ работнымъ людямъ взять съ собою чѣмъ мочно“. Работные людишки голодали, гнили, мерли от повалок, редкий работал больше года, каждый год вымирало до ста тысячъ людишек—город бутился человеческими костями. Не хватало инструментов, землю носили в подолахъ рубах; не хватало лаптей—ходили босыми. Работали, стоя по пояс в воде; жили в гнилыхъ землянках; иные уходили в бега, в леса, к разбойникам; иные бунтовали,—тогда их вешали у Петропавловского кронверка десятками, для показу. Рабочихъ указ дан был брить. Местные люди жульничали (хороших жуликов любил Петр), откупались и покупались взятками:—взятки Петр называл „коварством“. Писал: „Съ Казанской губерніи не дослано сюда за прошлый годъ положенныхъ денегъ больше 20 т. рублей, чему удивляемся мы, что такія дѣла у насъ забвенію преданы“,—и грозил дыбою. Хоронили холопов там же, где они подыхали. Работные людишки, раздетые, голодные, цынготные, безумели от страха, мучений, непонимания. Вельможамъ выезжать безъ разрешения из города было воспрещено. На всехъ госу-

даревых крышах указ дан был ставить „спицы“,—дабы время свое люди по часам знали. Начальником города был князь Меншиков, генерал-губернатор ингерманландский,—либер-киндер-Саша, как звал его Петр.

На рассвете ударили в набат. На Петропавловской и Адмиралтейской фортециях запалили из пушек. Офицеры выбежали на плац, из казарм выбегали солдаты, примыкая на бегу к фузелям багинеты. Заревел сигнальный рог. Выстроились. Был грязный рассвет. Ветер перешел в шторм, свистел в трех голоствольных соснах, еще не срубленных. Говорили о наводнении: на Васильевом-Хирвисари острове смыло весь запасенный лес, потонул в канале гвардии офицер Дерябин. Нева разбухла, посинела, щетинилась зелеными беляками. Кто-то сказал, что подступают шведы, заговорили о бунтах. Дождь косил косо, холодно. Загудели колокола в церквах. Опять ударили из пушек. Скомандовал дежурный генерал, офицеры передали команду по ротам. Вышли с плаца, пошли по направлению к Итальянскому дворцу. Утро было мутное, холодное, мокрое, грязное.

На дороге повстречал конный ординарец, снял шляпу (ветер сорвал его парик) и крикнул:

— Его императорское величество конфузию сию учинить приказал с первым текущим апрелем и с открытием навигации! А також указал прибыть ноне ко дворцу на трактамент!

Полк прокричал приветствие императору и повернул обратно.

Глава вторая.

С вяморья, из-за Малой Невы, из лесов, часто набегали на Санктпетербург волчьи стаи, драли и скотину, и людей. Разливом загнало стаю на Мистула-Елагин остров. Было доложено государю, и Петр поехал ловить „сих

раритетов“ для куншткамеры, погнав с собою сотню людишек. День был мутный и мокрый.

На Кайвусари-Фомином острове, за кронверком, у Татарской слободы, где на песках торчали тоскливые юрты киргиз и калмыков, обезумевших дикарей, пригнанных сюда с Заволжья, у старых ветел, объявился человек. Был он бос, с раскрытой головою, с бородою седой до пояса, с лицом сухим и строгим, в ладной монашеской рясе. Старик говорил о государе, о том, что царь Петр есть-де антихрист, будет-де весь народ печатать, „а на которых печати не будет, тем и хлеба давать не будут“. Говорил, что Нева-де пойдет вспять, разверзнутся хляби и снесут проклятый народом город. Показывал калмыкам налоговый знак на право ношения бороды, где выбиты были двуглавый герб российский, нос с усом и борода, и надпись: „дань заплачена“. На старика, на толпу бросились семеновцы с батогами, старец скрылся за юрты, его ловили. Петр, возвращаясь с ловли волков, принял участие в новой ловитве, командовал. Сыскан старец был вскорости, за кронверкским валом, к вечеру притащен был в Адмиралтейской фортеции застенок: в двадцатом году, после удушения в Петропавловской крепости Алексеевском равелине царевича Алексея, дан был указ,—„для розыска во всякихъ дѣлахъ застѣнокъ сдѣлать въ Адмиралтейской крѣпости“. Под крепостным валом, в подземельи, в канцелярии застенка встретил старика граф Толстой. Тускло горела масленка, залитая конопляным маслом, комната была приземиста, без окон, со сводчатым кирпичным потолком. Толстой сидел у стола, расставив ноги, барабанил тонкими своими пальцами по столу, смотрел немигающими глазами долго и пристально, молчал. Старик стоял перед ним прямо, неподвижно. От графа пахло водкой, от старика—луком и редькой.

— Как звать? Отколь?—спросил Толстой.

— Крещен Тихоном. С Белоколодезского погосту, с Коломенской волости.

— За трегубую аллилуйю и двуперстие, што ли?

Старик помолчал.

— И за них.

— Поди сюда, сукин сын.

Старик подошел, граф ударил его ботфортом снизу в живот.

— Глаголь орацию. Говори, когда потоп предрекаешь? Какую силу в медали нашел? Слово и дело государево.

— Егда потоп придет, един бог саваоф вестя. Предсказать еще не мочен.

— Говори орацию.

Молчали оба долго. Заговорил старик.

— Грахф!.. Внемли,— всякого благорассудного естество есть, но не оскуденья. Што с землей нашей стало есть?—стон, вопль и плач мирской. Единые балаганства суть. Весь народ наготствует, совесь купуется, правда в бордели сокрыта. О, Россие! балаган!.. Мой сын стариком стал,—и все война, немцы засилили. Царь с трубкой в зубах, как матрус заморский, одет, как немчин, пьян, яко ярыга, ахальничает, матершинит, яко татар,—ца-арь!.. Грахф!.. прими сие: царь наш подменный, немчин,—егда он за море с ближними людьми поехал, в стогольское царство прибыв, к стогольской той царице-девке пошел, а оная девка, Ульрика, спать с собою его положив, над государем нашим надругалась, на пуп свой клала, а пуп ей как сковорода горячая, и сменила немецкая, стогольская девка Петра Алексеевича оборотнем, дабы брил он бороды, кафтанье резал, однорядки, фезе-рези... Грахф!.. печатать хлеб скоро будут, понеже привезены печати. Летосчисление наинак поставлено. Еретики папешники, лютеры веру застыят... А царица та, сто-

гольская девка Ульрика, как была имянинница, стали ей говорить ее князя да бояре:—пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его, государя. Она блудная девка сказала:—подите, посмотрите, коли он жив валяется, для вас его выпущу. Те, посмотря, сказали:—томен, государыня.—А коли томен, так вы его выкиньте на помет. А Алексашка Меншиков, конюх, хриstopродавец, да Лефорнемчин, подобрав его в тот час, в бочку смоленую засмолили да в море выкатили. А как видел это стрелецкий сотник, то новый их содружник-дебошир, государев оборотень, и облютился на стрельцов. Авдотью Федоровну в монастырь сослал, потаскушку Монсову взял,—оморок мирской!.. Грахф! На смех все изделано есть!.. на смех, на издевку... Балаган!.. Отверзни очесы своя!.. Грахф!..

Масленка горела тускло, коптила. Стены и потолок были в сырости, в мокрицах, сырость пронизывала. Толстой сидел неподвижно, смотрел не мигая мутными своими раскосыми глазами. Старик говорил, боясь остановиться, боясь замолчать. Лицо старика было бледно, масленка потрескивала.

— Поди сюда, сукин сын. Хвамилие? — Сенсу довольно.

— Старцев прозываюсь. Три сына у меня на войне сгибли, два мнука...

— Когда потоп предрекаешь?!

— Егда потоп будет, един бог вестя, но быть—будет.

— Поди сюда, сукин сын! Дыбу ведаешь?..

Открылась железная дверца, вошел гвардии оберофицер Зотов. Покачиваясь, прошел к табурету, рухнул, положив голову на стол, икнул, вытащил из-за ботфорта штоф, захохотал.

— Что?—спросил Толстой.

— Ноне в сенате, собравшись в конзилию, Ягужинский со Скорняковым в каллизию вошли, за сим впу-

тался светлейший Алексашка Меншиков. Ягужинский Скорнякова, обер-прокурора, за волосы оттащил, а Шафиров с Головкиным да светлейший ворами обзывались.. Буча. Казус!.. Меншиков побег императрице жаловаться— по старому маниру. Были все зело шумны, после трактамента. Был при сем обер-фискал Мякинин, донес государю,—государь Катерине Алексеевне говорил:—Меншиков-де в беззаконии зачат, во гресех родила его мать и в плутовстве скончает живот свой, а ежели не исправится, быть ему без головы. — Дебош пошел с трактамента. Алексашка теперь плачет у царицыных ножек—нюхает.

Зотов снова захохотал, рухнул пьяно головой о стол.

— Дурак! — сказал Толстой. — Не зришь-бо, монстра сия стоит со словом государевым.

Пьяное, красное лицо Зотова моментально побледнело, вытянулось, соскочили веселость и хмель. Зотов встал, взглянул на Толстого. Толстой трусливо улыбнулся.

— Понеже, ваше благородие...

— Ваше сиятельство!..—голос Зотова дрогнул.

Толстой трусливо подошел к двери, дернул веревку от колокольца—в подземельи завенел глухо колокол. Вбежал солдат.

— Фузель!—крикнул Толстой, и обратился к старику. — Поди сюда, сукин сын! Когда...

Его перебил Зотов.

— Иди, егда глаголят!—крикнул визгливо, ударил старика по лицу, бритые губы Зотова ощерились.

Вбежал солдат с фузелью, стал во фрунт. Вдруг старик упал на колени, пополз к ногам Толстого, заскулил по-собачьи, заплакал. Масленка чадила тускло и смрадно.

— Сыночик, граф!.. смилустуйся, не стрели, не стрели, каса-атик!..

Толстой отодвинулся, сожмурил глаза, скомандовал:

— Пли!

Старик завизжал, пополз к углу, фузель сначала дала осечку, затем грянула, как пушка, метнулся дым, потухла масленка, старик смолк. Солдат поспешно высек огниво. Затылок и ухо старика были разбиты, конвульсивно подергивались ноги. Граф трусливо раскрыл глаза, покойно сказал:

— Повесить сего старика на Фомином острове за кронверком у Татарской слободки на иву, где оный объявился,—для показу.

Когда Толстой и Зотов выходили из застенка и за ними поднялся мост, Толстой шопотом сказал:

— В тайную канцелярию доставлено есть письмо еeneral-адмирала Апраксина, оный пишет: „истинно во всех делах, точно слепые, бродим и не знаем, что делать. Во всем пошли великие расстрои и куда прибежать и что впредь делать, не знаем. Все дела, почитай, останавливаются“. Мятеж и разбой.

Над Санктпетербургом стоял туман, густой, как студень. За рекой, должно быть, в Астории, гремел оркестр. До дому Зотов не добрался, заблудился, залез в какой-то шалаш и там заночевал. Были в нем тоска и боль.

Утром гвардии офицер Зотов получил приказ отправиться в Московской провинции коломенский дистрикт комиссаром, „дабы ввести добрый анштальт“. Зотов три дня пьянствовал и ускакал на перекладных, с государевой эпистолю: вопросы „коммуникации“ не принимались в расчет, когда скакали по указу государеву.

Глава третья.

Сейчас же за Санктпетербургом, отскакав от него верст восемьдесят, переправляясь под Тосной на пароме через реку, гвардии обер-офицер Зотов почувствовал, что он в настоящей, подлинной, древней России, что в Рос-

сии Великий пост, над Россией русская наша обильная, тихая, благодатная весна.

Тракт от Санктпетербурга до Тосны напоминал военную дорогу, валялись людские и конские скелеты, поломанные возки, рубленный лес. На Тосне перевозчики говорили о разбойниках, напавших регулярным строем, — и Зотов не мог понять, говорится ли это просто о разбойниках или о царских солдатах. За Тосной, около корчмы на лугу в грязи валялись кандалники и работные людишки: тут их брили, дабы не попались они бородатыми на глаза государю. Закат был багряным, весенний ветер ласкал тихо, земля, родящая, разбухла обильно. В корчме подали постное. За рекой звонил великопостный колокол. За открытым окном кто-то тоскливо пел:

А и Петра, что шелканище,
С князей брал по сту рублей,
С бояр по пятидесяти,
С крестьян по пяти рублей.
У кого денег нет—
У того дитя возьмет.
У кого дитя нет—
У того жену возьмет!
У кого жены нет—
Того самого с головой возьмет!.

Вечер пришел тихий и ясный. Над рекою летали стрижи, купаясь в тихих, красных вечерних лучах.

Над землю творилась весна, творился Великий пост, — и Зотов почувствовал остро, — что если в Санктпетербурге, за разгулом, воровством, жульничеством, жестокостью, за лихорадками и туманами, хоть глупая, но все же была мысль стать подобным Европейской державе, — то за Санктпетербургом, в огромной России были единые разбой, холуйства, безобразие и бессмыслица. Два раза изменен-

ное местное управление, налоги, подушная, расквартировка по селам полков, натуральные поборы, наборы, солдатчина,—все спутало, перепутало, затуманило здравый смысл. Комиссары, земские и военные, ландраты, ландрихтеры, кондидаторы, провиантмейстеры, губернаторы, воеводы—мчались по своим дистриктам и провинциям, загоняя, в зависимости от аллюра и чина, тройки или шестерки, взыскивали, пороли, вешали,—бритые, похабные больше, чем татарские баскаки, похабничающие спяна надо всеми со всеми. Крестьяне боялись, как чуму, новую эту бритую бюрократию, всегда пьяную и говорящую на помеси русско-немецкого языка. Выросло целое поколение, и было известно, что Россия все воюет—с турками, со шведами, персами, сама с собою—с Доном, Астраханью, Заволжьем. Набор шел за набором, налог за налогом. Тащили с церковей колокола, обкладывали податью—хомуты, бани, борти, гроба, души. Шли недоборы, нехватка рук, голод, блудили солдатики,—солдаты, убегая, приходили зараженные сифилисом, пьяные, забитые, озлобленные, жили разбойниками в лесах. Старая кононная, умная Русь, с ее укладом, былинами, песнями, монастырями,—казалось,—замыкалась, пряталась,—затаилась на два столетия.

В одной деревне, уже за Мстой, в Валдае, к повозке Зотова бросилась баба, закричала безумно, запричитала:

Охти мне, да мне тошнешенько!
Кэбы мне да эта бритва наостренная,
Не дала бы я злодейской этой нечисти
Над моим сыночком надругатися!..
Распорола бы я груди этой некрести,
Уж я выняла бы сердце то со печенкою,
Распластала бы я сердце на мелки куски,
Я нарыла бы в корыто свиным месиво,
А к печень свиным на угощение!

— Што орешь, монстра волосатая?!—отозвался Зотов.

Баба бросилась под колеса, завизжала:

— Пори мои грудыньки, коли мои глазаыньки,—отдай мово дитеньку-у!.. Будь мое слово выше горы, тяжеле золота, крепче камня Алатыря... Чорт страшный, вихорь бурный, леший одноглазый, чужой домовый, ворон вещей, ворона-колдунья, Кощей-Ядун, — лютый антихрист Петра-а-а!.. А придет час твой сме-ертный!..

Деревня лежала на склоне холма, росли клены, избы были под соломенными крышами, хмуро, слепо грелись на солнце. Был полдень, весенний жар. Звенели жаворонки. Была весна, кричали грачи, вечерами токовали в лесах глухари, совы кричали, филины ухали, дули вольные ветры, полошились реки, мужики собирали боронысохи, пели девушки на косогорах.—Баба вопила долго, пока не скрылась деревня, пока не встал впереди на горе белый пятиглавый монастырь. Кругом под небом были леса, поля, суходолы.

За Москву, в коломенский дистрикт гвардии офицер Зотов прискакал на страстной и сейчас же поскакал по уезду. В великий четверг, к вечеру был у Погоста Белые Камни на местных солдатских квартирах. Верно, мужики и солдаты были предупреждены, потому что солдаты, очень оборванные и небритые, встретили его барабанным боем и подали рапорт, а мужики, очень испуганные, — хлебом-солью и челобитной. Гвардии офицер Зотов остановился на съезжей, „дабы добрый анштальт внести“,—но к нему пришли священник и местный дворянин Вильяшев, просили прийти ко всенощной и затем к священнику разделить вечернюю трапезу.

Белая, ставленная из известняка, церковка стояла на холме, над Окою, за нею лежали леса, луга, вечный простор. Слюдяные оконца смотрели в землю, со стен глядели темные, строгие лики. Зотов давно уже не был

в церкви, в Санктпетербурге церковное служение было увеселением, — поразили суровость, простота, благочиние. Стоял со свечью неподвижно. Обнищавшие, оборванные мужичонки молились истово, бесшумно. Свечи под сводами горели неярко, служба была долгой. Из церкви вышли, когда уже стемнело, атласное синее небо вывездилось четкими звездами. На лугу у реки кричала медведка, перекликались во мраке на полях коростели, издали доносилось чуфырканье глухарей.

В избе священника стены мазаны были глиной, горела лучина, священник принес меду, черного хлеба и ключевой воды. Сел напротив, расправил бороду, — Зотов приметил, что лицо священника утомленно, в глазах тоскование, боль и — вера, священник был высок, уже не молод, держался строго, покойно. Вильяшев, в однорядке, с бородой, стал у печки, в тени.

— Чем-богаты... — сказал священник, — в Санктпетербурге-городе, чай, новостей зело много...

Зотов поставил эспадрон свой в угол, поклонился, сел, заговорил.

Разговор их был недолог.

— Отбыв из Парадиза, поражен весьма был скудостью народной, ибо кругом стон, вопль, мздоимство и дебошанство.

— Та-ак, — в один голос сказали и священник, и Вильяшев.

— Государь его величество наречен императором. В Санктпетербурге викториальные торжества. Шляхетство есть без всякого повоира и в конвилиях токмо спектакулями суть. Его величество правит без резону, по бизарии своего гумору...

— Та-ак... Темно ты говоришь, барин... Та-ак... — священник помолчал, поправил темную свою рясу и крест на груди. — Вкуси меду... А правда ли, глаголят, что

государь чудит, как юродивый, — молится на шутейшем-пьянейшем соборе чубуками, уду подобными, крестом никоновым сложенными?.. Правда ли, што государь на блядюшке Меншиковой женат и паки имеет гарем, по тюркскому обычаю?.. А знаешь, што солдаты здешние квартирный весь народ, мужиков, — всех батогоми перепороли, за бабенку распутную... Знай!! Погоди. Знаешь, что в песне поют, — „это не два зверя собралися, — народ поет, — это правда с кривдой сохваталися, промежду собой они дрались-билися... Кривда правду пересилила. Правда пошла на небеса, а... — а кривда харею немецкой рыщет...“ Знай!! знай, что не царь у нас, но антихрист, — головой запрометывае т, падучий... На бани, избы, гробы, хомуты — подать?!

— Государя моего поношение слышать аз некопабель, — нерешительно сказал Зотов.

Его перебил священник, — встал, левой рукой взял крест, правую поднял.

— Погоди. Отец мой в оный болотный город пошел, правду искать, — не слышал про Тихона Старцева? — отец мой...

— Поношение государя моего слышать аз некопабель, — сказал Зотов грозно и — стал краснеть, упорно, кумачево, плотное его лицо, бритые губы покрылись потом. Встал, смял кулаки. — Поношение государя моего...

— Тихон Старцев... Старцев — не ведаешь?.. Али — с волками жить — по-волчьи выть?..

— По-волчьи выть? — переспросил Вильяшев.

Гвардии офицер Зотов, пряча огромные свои кулаки назад, попятился к двери, захватил эскадрон и вышел поспешно, стукнувшись лбом о притолоку. Вслед ему крикнули:

— По-волчьи, — а?!

Над горизонтом меркнул последний пред пасхой, красный, скорбный диск луны, были тишина и мрак. Кричала под горой у Оки медведка. Церковь, вросшая в землю, крестом уходила в небо. Зотов набил трубку, высек искру. В смятении, в воспоминании об отце своем (шутейший, пьянейший собор...), о Тихоне Старцеве—то же отце, о Петре, о России, от которой он оторван был уже навсегда и которую любил, как мать, утерянную в детстве,—он понял, что, что бы он ни писал в свой журнал,—он обречен выть по-волчьи, скулить, как те волки, что Петр травил на Мистула-Елагином острове.

Шла страстная ночь.

Глава четвертая.

Человек, радость души которого была в действиях. Человек со способностями гениальными. Человек ненормальный, всегда пьяный, сифилит, неврастеник, страдавший психостеническими припадками тоски и буйства, своими руками задушивший сына. Монарх, никогда, ни в чем не умевший сокращать себя—не понимавший, что должно владеть собой, деспот. Человек, абсолютно не имевший чувства ответственности, презиравший все, до конца жизни не понявший ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Маньяк. Трус. Испуганный детством, возненавидел старину, принял слепо новое, жил с иностранцами, съехавшимися на легкую поживу; обрел воспитание казарменное, обычаи голландского матроса почитал идеалом. Человек, до конца дней оставшийся ребенком, больше всего возлюбивший игру,—и игравший всю жизнь: в войну, в корабли, в парады, в соборы, иллюминации, в Европу. Циник, презиравший человека и в себе, и в других. Актер, гениальный актер. Император, больше всего любив-

ший дебош, женившийся на проститутке, наложнице Меншикова,—человек с идеалами казарм. Тело было огромным, нечистым, очень потливым, нескладным, косолапым, тонконогим, проеденным алкоголем, табаком и сифилисом. С годами на круглом, красном, бабьем лице обвисли щеки, одрябли красные губы, свисли красные—в сифилисе—веки, не закрывались плотно; и из-за них глядели безумные, пьяные, дикие, детские глаза, такие же, какими глядит ребенок на кошку, вкалывая в нее иглу или прикладывая раскаленное железо к пяточку спящей свиньи: не может быть иначе—Петр не понимал, когда душил своего сына. Тридцать лет воевал—играл в безумную войну—только потому, что подросли потешные, и флоту было тесно на Москве-реке и на Преображенском пруде. Никогда не ходил—всегда бегал, размахивая руками, косолапа тонкие свои ноги, подражая в походке голландским матросам. Одевался грязно, безвкусно, не любил менять белья. Любил много есть, и ел руками, — огромные руки были сальны и мозолисты.

В Санктпетербурге, в пасхальную ночь, в начале четвертого часа пополуночи пущена была у Зимнего дворца ракета и по этому сигналу запалили в Петропавловской и Адмиралтейской крепостях из пушек. На Кайвусари-Фомином острове, в Троицком соборе, стали благовестить к заутрене, заиграл орган. Государь, государыня императрица, министры и вельможи, по регламенту, паску встречали у Троицы. Петр был в черном сюртуке с роговыми пуговицами, в ботфортах, пел негустым своим баритоном на клиросе:—заутреня была задержана, ибо государь с вечера задремал. Когда пошли кругом церкви с крестами и хоругвями, Петр удалился распорядиться фейерверками: обер-фейерверкмейстер Демидов зажег масленки на огромном двуглавом орле, и из орла вылетела ракета, ударила во льва, зажгла его, лев рывкнул глухо и разлетелся на

куски: это означало, что орел—держава российская—победил льва—короля шведского, исконного врага, уничтожил львиные его замыслы. Запалили из пушек. Ночь была темная, безветренная, моросил дождь. За Кронверкским плацем, за Гостиным двором, на Татарской слободке, около своих юрт, около ивы с повешенным, лежали на земле в страхе киргизы и калмыки, пораженные орлом и львом. Пушки палили всю ночь. Еще с полночи поднят был штандарт. Мужчины христосовались губным целованием, а с дамами указано было христосоваться целованием руки. Тотчас после литургии перед церковью выстроились литаврщики, трубачи, гобоисты, барабанщики, приветствовали государя и пошли во главе шествия к Неве, чтобы на галерах переправиться в Летний сад, на Перузину-остров, где назначено было гуляние. Нева разбухла, щетинилась беляками, была пустынной, на кораблях горели тусклые фонари, пересвистывались дозорные.

Вечер пред пасхальной заутреней государь провел в Итальянском дворце, в рабочем своем кабинете. В комнате почти в уровень с головою растянута была парусина: государь болезненно не любил высоких комнат. На столе перед Петром горели свечи, был полумрак, пахло потом, водкой и сыростью. По углам, на столах, на подоконниках, в пыли, валялась всякая рухлядь, глобус, астролябия, фузелы, модель корабля, ботфорты, стояли верстак в стружках, походная неудобная кровать. На полке рядами расставлены были в банках монстры и раритеты, заспиртованные уроды людей и животных, тщательно собираемых Петром для куншткамеры, по указу — „о приносѣ родившихся уродовъ, такожь найденныхъ необыкновенныхъ вещахъ, понѣже извѣстно есть, что какъ въ человѣческой породѣ, такъ и въ звериной и птїчей случается, что родятся монстры“. Петр сидел у стола и, локтем сдвинув на сторону бумаги, списывал из „Приклады, како пишутся

комплименты“ поздравление в Москву, Ромодановскому, сидел сгорбившись, в колпаке, в нижней одной рубашке, пропотевшей под мышками и заплатанной. У дверей вытянулись денщики, смотрели по сторонам, как пристяжки.

Государь писал:

Высокопочтенный господи́нь.
Во исполненіе моеї чадскої должно́сті не могу остави́ть при начатіи Божію милостію св. Пасхі, вамъ всякаго блага желать, да подасть милость Всемогущаго, дабы вы, господи́нь, не точію сей, но и многія последующія годы...

Не дописал, должно быть в расчете, что письмовник есть и в Москве. Подписался:

Вашива Величества шжайшій рабъ.
Кнеб Piter Komandor.

В комнате прохрипела кукушка. Петр откинулся от стола, сказал:

— Слышь?

Полубояринов налево кругом вышел из комнаты, вернулся со стаканцем водки, огурцами и кислой капустой на подносе. Орлов расставил шахматы, двинул королевской пешкой, — тот Орлов, из-за которого погибла любовница Петра, Мария Гамильтон. Петр не был ревнив, охотно делил своих любовниц с друзьями. „Френская девка“ Мария утешалась с денщиками государя, с Орловым, — но она — любила Петра, государь ее казнил. Государь был при казни, он около эшафота попрощался с Марией, обняв ее. Она была в белом платки с черными лентами. А когда палач отрубил голову, Петр поднял ее и наглядно разъяснял присутствующим анатомическое строение горла, затем поднес голову к своим губам, коснулся мертвых

губ губами своими, которыми раньше—девушку—целовал иначе,—перекрестился и ушел,—побежал на верфь, косолапя, размахивая руками, без шляпы, как всегда в теплую погоду.

Государь выпил водку, съел огурец, выдвинул тоже королевскую пешку, черного офицера коня. Коню удалось взять в вилку туру и королеву,—Петр громко захохотал. Но партии доиграть не удалось—пришел прибыльщик и прожектер, царский писатель, Митюков. Стоял около приземистой дверцы, постный, елейно кланяясь, в костюме на-прокат, в парике, из-под которого торчали собственные рыжеватые волосы.

Петр сказал:

— Guten Abend.

Митюков закланялся, как флюгер от ветра.

— Прими ла плас,—сказал Петр.—Место прими.

Тот сел на кончик стула, положив руки на колени. Из-за чужого ботфорта, который был велик, торчала грязная портянка.

— Говори измышление свое.

— Ваше царское величество! Век служить тебе восхотев...

— Не мне, а государству, понеже сам служу, почав с первого Азовского похода бомбардиром. Говори сенс.

Мужичонко глубоко передохнул.

— Како обложены суть людишки померными налогами, хомутейными, шапошными, пчельными, там, банными, брадобрейными,—измыслил аз обложить весь народ курильным налогом, дабы курили все табак, а кто не восхощет, должен дань платить, смотря по чести и чину.

Петр наклонился к Митюкову, взглянул дикими своими глазами в затрепетавшие его глаза, расхохотался, крикнул:

— Орлов!

Орлов вырос у стола, руки по швам.

— Посадить одного сего человека в камору и приставить дозорщика, дать ему трубку, дабы курил оный всю ночь канупер без останова. Смотреть неотлучно. Ежели стошнен будет—вытолкать в шею, двадцать батогов дав, ежели осилит, дать бумаги по утру, дабы писал провэక్షию к вечерней моей аппробации.

Митюков обмяк, посерел, упал в ноги. Орлов схватил его за плечи и потащил в глубь комнаты к потайной двери. Петр хохотал весело, проводил до двери, заложив руки назад.

Полубояринов снова принес водки, государь выпил. Сел к столу, читал. Свечи горели тускло, чадили. Среди задрязганного стола, где валялись корки, карты, бумаги, пепел, объедки огурцов, около инкрустированной шахматной доски, лежала огромная, мозолистая рука Петра, с ногтями на манер копытец. Петр сидел в тени. Вскоре пришел Орлов, доложил:

— Оный Митюков блюет, ваше величество.

Петр не ответил. Орлов взгляделся. Государь склонил сильно волосатую свою бабьи-красную голову к спинке кресла, полуоткрытые глаза смотрели стеклянно,—государь спал. Захрапел тонким бабьим присвистом. Орлов стал во фронт, стоя заснул. Легла тишина, храпел государь. Как раз под государевым кабинетом в подвале блевал судорожно Митюков.

Утро пришло бледное, немощное, пустынное, — такое же пустынное, как осень. В Летнем саду на Перузинне-Адмиралтейском острове было гуляние. Государь с утра был пьян. Государем указано было у ворот поставить стражу и никого не выпускать из сада до полуночи. Сад, построенный на заграничный манер, с чахлыми деревцами, с павильонами к Неве, с фонтанами, с охотничьими домиками, острокрышими, крытыми черепицей, как голландские хибарки. День пришел серый, холодный, пустынный. Тра-

ктамент назначен был под открытым небом. Маршалом был государь. По аллеям пошли гвардейцы с ушатами сивухи и крашенными яйцами, царским подарком, поздравляли ковшом водки. Мужчины поместились за длинными узкими столами—в главном павильоне, дамы отдельно—у фонтана за Статуйной аллеей. Государь ел и пил стоя, по чину маршала остатки от тарелок выливал на голову дуре-княжне Голицыной. Перепивались быстро. На женской половине в питии не отставали, вскоре оттуда понесся визг: это императрица в припадке нежности (нежности ли? ненависти ли?) щекотала новую государеву галантку, фрельскую девку Румянцеву,—та брыкалась, визжала, остальные хохотали. Были женщины в нескладных, дорогих, домошитых платьях, не похожих ни на русские, ни на заграничные,—разве на костюмы голландских разбогатевших мещанок, жен матросов, весело гулявших без мужей. Прически у женщин порастрепались, дородные лица вспотели, порасползлись платья на сытых толстых телах. Запели визгливо разухабистую застольную, как поют, когда рубят капусту. Государь пьянел, мутнел медленно, заметил, что князь старик Трубецкой, склонный к старине, взял тайком вторую порцию сладкого,—закричал, призвал гвардейцев, раскрыл насильно рот старику и пичкал—в припадке—желе, пока у того не закатились глаза. Грянула музыка к танцам, офицеры вскачь бросились на дамскую половину, женщины завизжали, сбились в кучу, мужчины заигрывали, толкались, хватали—с пьяна—за груди, пьяно топтались на месте в менуэте. Ягужинский, галант французский, подрался со своею новой женой. Иные из стариков уже спали, свалившись под столы. Попы мирно допивали остатки, попахивая кислой капустой. Новый князь-папа Бутурлин в малом павильоне благословлял орлом и удоподобным своим крестом. Государь командовал лакеями, готовил буфет с охлаждающими и ушаты с

водой для отливания омертвевших, новый сюртук его с роговыми пуговицами давно уже был засален и выпачкан в песке. Петр заходил ко князю-папе, выпил большого орла, прошел на танц-пляс, мутно поглядывал кругом, нахмурился, на глаза попалась Румянцева, по дряблым губам побежала улыбка, глаза с отвислыми веками стали буйными, — подбежал к Румянцевой, схватил, поднял на руки и, на бегу закидывая ее юбки и раздирая на ногах белье, побежал к охотничьему домику на верейке, уплыл в него, крикнул императрице:

— Катька! дура! экземпель! Повелеваем пребыть в сиянсе.

Румянцева вышла через несколько минут, красная, потрепанная, поправляя платье, похожая на потоптанную курицу. К ней подошла императрица, зашептались.

Государь вызвал к себе на озеро Толстого. Сидел на столе, поставив тонкие свои ноги в чулках на диванчик, без сюртука, мутно улыбался. Толстой стал у двери, посматривая осторожно раскосыми своими, немигающими глазами.

— Петька. Ваше превосходительство... Раритет!.. Известно всем есть, што Ивашка Мусин-Пушкин батюшки моего государя сын. Моего отца признать не мочен, — бают, Тихон Стрешнев али дохтур. Понеже есть ты, ваше превосходительство, начальник тайной канцелярии, дознать сие неотложно, обополы, без всякого предика.

— Слушаюсь, батюшка.

— Кабель! Не батюшка, а — император... Понял?.. Понеже иного дела не имеее, точию одно правление, которое ежели неосмотрительно делать будете, то перед богом, а потом и здешнего суда не избежите... Погоди. На Фомином острове пойман был раскольник, предрекал оный потоп и мою подмену. Где оный раскольник?

— Казнен, ваше величество.

— По чьему указу? каковы circumstances? Когда потоп предрекал?!

— Не сказал, ваше величество. Гвардии офицер Зотов при сем был, возмущен был словесами. Из фузели...-- немигающие глаза Толстого быстро замигали.

Петр встал, судорожно натянувшаяся правая нога откинулась назад, лицо обезобразилось судорогой, подбородок свернуло к плечу, глаза смотрели дико, беспомощно и больно.

— По чьему указу? какими регулами? — бунт? — Толстого четвертовать. Зотова на дыбу!..

Толстой шмыгнул из двери, не заметил лодки, бросился в воду, кричал императрице:

— Матушка,—томен!..

Екатерина поплыла к Петру. Петр стоял, размахивая руками, подбородок его судорожно склоняло налево, сажало на плечо, глаза были дикими и беспомощными, как у ребенка. Одна Екатерина могла его успокаивать в такие минуты. Взяла обеими руками голову Петра, прислонила к груди, почесывала тихо за ушами. Села, посадила около государя, прислонила голову его к обильным своим коленам, почесывала. Государь заснул беспомощно, как ребенок.

На пустынной Неве, широко разлившейся и холодной, катались на яликах матросы. Негусто трезвонили на редких колокольнях. На Васильевом-Хирвисари острове, на самой стрелке, где торчали редкие сосны, работные людишки, парни и девки водили хороводы.

Пошел дождь. Вельможи прятались по павильенам и беседкам, ибо у ворот стояла стража, которой указано было не пускать никого с трактамента до полуночи. Нева ощетинулась, холодно обвеивал мокрый ветер. Шел серый, сырой, болотный санктпетербургский пасхальный день.

У Николы, что на Белых Камнях, в тот день шли широкие, теплые ветры. Над землею, над полями, лесами,

суходолами, поемами, реками,—русскими нашими,—творилась весна, великая земная радость. Обильное солнце поднялось красно и радостно. В светлый день пели девушки веснянки. У Николы, под солнцем, и ночью до нового солнца пели девушки. Красными сарафанами одевались утренние зори, болотными купавами меркли зори вечерние. Пели девушки:

Оболокюсь оболочками,
Подпояшусь красною зарею,
Огорожусь светлыми месяцами.
Обтычусь частыми звездами,—
Освечусь я красным солнышком!..

Ой, ударь ты, гремучий Гром, огнем-полымем!
Разогрей ты, громова стрела,
Нашу матушку, Мать-Сыру-Землю!..

Девушки пели тогда, чтоб пропеть два столетия.

Коломна—Никола-на-Посадах,
Починки под Богородском.
Май 1919 г.

Гор. Фильчик

